

Александр Етоев

КНИГОЕДСТВО



Выбранные места из книжной истории
всех времен, планет и народов

Александр Етоев

Книгоедство

«Автор»

Етоев А. В.

Книгоедство / А. В. Етоев — «Автор»,

Совершив подвиг, сравнимый с подвигом Дидро и Д'Аламбера, петербуржец Александр Етоев создал необычную литературную энциклопедию, забавную и увлекательную. В ней полным-полно удивительных персонажей: рядом с Гоголем и Достоевским здесь топчутся злодеи из советских шпионских романов, и у каждого из них в руке – по воздушному шарiku. Прочитав «Книгоедство», читатель будет иначе смотреть на Мировую Литературу. Кроме того, он узнает много нового о печальной участи лошадей, блох и котов, о животноводстве и антисанитарии в русской литературе, о водке «Пушкин» и поэтах в противогазах. Как известно, в потрепанных библиотечных томиках между пожелтевших страниц можно найти немало засохших жучков и паучков. Многие оставят бедных козявок без внимания, многие – по не Александр Етоев. Он любит их, как иные любят детей или котят. Ведь парадоксальным образом именно эти неприметные создания творят то, что мы называем Великой Литературой. И последнее. Несмотря на то, что название книги звучит весьма устрашающе, жить в ней уютно и тепло. Добро пожаловать!

© Етоев А. В.

© Автор

Содержание

Предисловие	5
А	7
Б	21
В	33
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Александр Етоев

Книгоедство

Предисловие

Роман-энциклопедия – странное сочетание. Трудно укладывается в голове. Хорошо, а такая форма, как «роман-комментарий», укладывается лучше? Но ведь и «Бледный огонь» Набокова, и «Пути к раю» шведа Корнеля, и «Подлинная история “Зеленых музыкантов”» Евг. Попова – каждое из этих произведений действительно роман-комментарий. А еще есть роман-пергамент («Суер-Вьер» Юрия Коваля), роман-пунктир (А. Битов), роман-воспоминание (А. Рыбаков), роман-путеводитель (Н. Анциферов) и много чего еще. Так почему же тогда не быть роману-энциклопедии?

Границы романной формы к XX веку сделались такими же размытыми, как само понятие «реализм». Он и фантастический, и магический, и «без берегов», и еще бог знает какого вида.

Да, скажет суровый критик, только в большинстве из приведенных примеров существует единый стержень – это или главный герой (группа героев), или некая цель (рай), к которой автор в результате приводит (пытается привести) читателя.

Да, отвечу я суровому критику, только почему бы главным героем романа не сделать Книгу, а целью – донести до читателя мое отношение к Книге.

Что я и попытался сделать.

Самое трудное при подготовке этой книги к изданию было придумать ей имя. Первый вариант имени по претенциозности и замаху мог соперничать с такими глыбами космического масштаба, как словарь Брокгауза и Ефрона, Большая советская энциклопедия, Британика и подобные им издания. «Всемирная книжная энциклопедия», ни много ни мало, – так я назвал свое детище. Но, посоветовавшись с собственной совестью, я стал думать над названием поскромнее.

И тут мне помогла классика. Низкий ей от меня поклон и особая благодарность Николаю Васильевичу Гоголю, первым введшему в оборот словосочетание «выбранные места». Оно очень удобно тем, что спасает автора от упреков в предвзятости, высокоглядстве и узколобом подходе к теме. Поэтому второй вариант моего энциклопедического романа я назвал очень по-гоголевски – «Выбранные места из книжной истории всех времен, планет и народов».

Ведь и вправду, вдруг меня спросят: а почему в предложенной выборке отсутствуют Коран, Пополь Вух, «Записки» кавалер-девицы Надежды Дуровой, «Иосиф и его братья» Томаса Манна и книги петербургских фундаменталистов?

Пользуясь же гоголевским приемом, всегда можно ответить на это: да, пока что отсутствуют, но в следующем, дополненном и доработанном издании книги все допущенные автором пропуски будут заполнены обязательно. Мало того, можно даже пообещать, что в авторских планах – полное, без всяких пробелов, описание всех наличествующих в природе книг.

Единственное, чего просит при этом автор, это малой толики снисхождения: планы, как говорится, планами, а жизнь человеческая не так продолжительна, как хотелось бы. За крайне редкими исключениями она даже короче жизни обыкновенного дикого гуся (100 лет), не говоря уже о таких долгожителях, как слон или черепаха.

Итак, «Выбранные места». Когда я поделился своей находкой с одним продвинутым пиар-менеджером, тот мне посоветовал или вовсе отказаться от такого названия, как заведомо непродажного, или хотя бы не выносить его на обложку.

И машина заработала снова. Я прокручивал в голове варианты: «Helluo librorum» («Пожиратель книг»), «Опыт частной книжной энциклопедии», «Частный опыт книжного лексикона», «Библиотропион, или Следование за книгой»... Вариантов было гораздо больше, и наконец я остановился на «Книгоедстве». Во-первых, когда-то у меня вышла книжка «Душегубство и живодерство в детской литературе». То есть преемственность сохраняется, ведь известно, что от душегубства до книгоедства расстояние такое же малое, как от саксофона до финского ножа. Во-вторых, оно хоть и режет слух, но семантически совершенно светлое, ибо соответствует тому же «helluo librorum» или более привычному – «буквояд».

Скажу честно: этот мой «академический» опус вовсе не претендует на академичность. На энциклопедичность, впрочем, он тоже не претендует. Энциклопедия – это серьезный научный труд, который предполагает обстоятельную работу с материалом, четко выстроенные в цепочку факты, полноту освещения предмета, сугубо объективный подход, безэмоциональность, отсутствие иронии, юмора, интонации. Хотя в истории бывали примеры энциклопедий, не очень-то совпадающих с общепринятыми научными требованиями. Та же «Энциклопедия» д'Аламбера и Дидро, например. Или любое энциклопедическое издание советского времени, порезанное ножницами цензуры.

Мое «Книгоедство», как уже говорилось выше, – художественное произведение, написанное в жанре энциклопедии, и именно так его и нужно воспринимать. Поэтому, кроме чисто книжных статей (или главков, кому как нравится), я включил сюда и маленькие рассказы, замаскированные под заметки об авторах или книгах («Веллер», «“Выбор катастроф” Азимова»), и записи о некоторых вещах, вроде бы с литературой не связанных («География», «Конный цирк»), и литературные «факты», основанные на фантастических допущениях («Пушкин»).

И всех их объединил *собой*.

Руку на сердце положа, книга эта – малая дань моему давнему пристрастию к чтению, обреченная на неудачу попытка заинтересовать как можно больше людей этим небесполезным делом, мой роман с литературой, в конце концов.

И последнее замечание: материалы, вошедшие в книгу, писались с 1991 по 2006 год и не сводились к единому конечному знаменателю, то есть ко мне сегодняшнему.

P.S. А «Выбранные места» я все-таки сохранил – хотя бы в подзаголовке.

А

Автографы

Дураку ясно, что авторская надпись на книге увеличивает ее ценность во много раз, особенно если автор уже в могиле. Сложнее обстоит дело с автографами живых писателей. Один мой знакомый прозаик, имени которого называть не стану, однажды мне сказал следующую парадоксальную вещь: «Неизбежное зло писателя – книги с автографами коллег. Мусор, от которого можно избавиться, но нельзя отказаться». Фраза довольно злая и, наверное, не вполне справедливая. Но какая-то доля правды в ней, согласитесь, есть.

Писатель Андрей Измайлов как-то жаловался мне на писателя Володю Рекшана. Дело в том, что однажды в букинистическом магазине Измайлов обнаружил какую-то из своих книг с собственным же автографом В. Рекшану. Сам Рекшан категорически отрицал свою причастность к факту сдачи книги с автографом. В принципе, ничего зазорного в этом происшествии я не вижу. Всем известно, что у большинства отечественных прозаиков денег не то что нет, но зачастую не предвидится даже в далеком будущем. Поэтому ради элементарного выживания писатель имеет право совершить этот мелкий грех – сдать подписанную ему автором книгу пусть за мелкие, но все-таки деньги. И обижаться тут, по-моему, нечего.

Особый случай с автографами – когда автор ставит перед собой задачу таким способом заработать. Классический пример – вояж Маяковского по Америке. Сопровождавший поэта Давид Бурлюк заставлял гостя из советской страны подписывать свои книги, объясняя это прагматически просто: неподписанная книга стоит 5 долларов, книга же с автографом знаменитого гостя – 20.

Кстати, об автографах Маяковского. Дмитрий Быков в книге о Пастернаке пересказывает показательный факт покупки Осипом Бриком у букиниста в 1939 году книги Маяковского «Хорошо!» с надписью: «Борису Вол с дружбой нежностью любовью уважением товариществом привычкой сочувствием восхищением и пр. и пр. и пр.». У того же букиниста Брик обнаружил и другую книгу, пятый том собрания сочинений Маяковского, также с автографом Пастернаку: «Дорогому Боре Вол 20/XII 1927».

Сам Пастернак категорически отрицал, что эти книги подарены ему и попали к букинисту из его домашней библиотеки. «Это не мои книги, – ответил он Василию Катаняну на заданный по этому поводу вопрос. – И надпись не мне».

Быков связывает факт продажи подписанных книг с сознательным отречением Пастернака от такого поэтического явления, как творчество Маяковского. Так ли это или не так – доказывать литературным историкам. Я привел этот случай в качестве примера, не более.

Авторская (бардовская) песня

Громче всех пел Высоцкий. Тогда, во второй половине 60-х, каждая его магнитофонная запись воспринималась как откровение. Тяжелые катушечные магнитофоны мы таскали из дома в дом, как только у кого-нибудь из знакомых появлялась новая запись. Это были живые песни, в них кипела живая жизнь, неустроенная, непредсказуемая, опасная, которой так всегда не хватает пятнадцатилетнему городскому жителю. Мы записывали эти песни в тетрадки, мы осваивали три-четыре аккорда – «блатные», так их называли в народе, – и орали под портвейн и гитару: «Здесь вам не равнина, здесь климат иной», «В прорыв идут штрафные батальоны» и «Парус, порвали парус». Певец тогда еще только начинал завоевывать пространство русской души. А уже через десять лет Высоцкий для русского человека стал фигурой сродни Гагарину. Даже про Брежнева тогда говорили: «Мелкий политический деятель эпохи Высоцкого».

Потом пришло время Галича. То есть он был и раньше, но громкая музыка Высоцкого делала его голос неразличимым. Песню про «Белые столбы» мы пели, даже не зная, что она

написана Галичем. Галич для моего поколения, не потерявшегося в пустыне 70-х, – символ совести и свободы. Он учил нас издеваться над глупостью держиморд от советской власти. Стукачей он называл стукачами, а подлость называл подлостью. Хранить пленки с голосом Галича было опасно. Когда со второй половины 70-х пошли повальные обыски по делам, связанным с самиздатом, наряду с книгами и машинописными копиями изымались и записи его песен. Галича сейчас слушают мало. К сожалению, актуальность песен не всегда дает им путевку в вечность. Но с точки зрения поэзии, виртуозности исполнения, художественных находок песням этим наверняка суждена жизнь долгая.

Окуджава. Прежде всего, это человеческая душа. Негромкая, изменчивая, открытая, которую необходимо беречь как искру Божию внутри нас. Все песни его – о душе. Поэтому время на них не действует. Трудно отыскать человека, равнодушного к его голосу. Узнается он везде и всегда. Сразу бросаешь дело, которым бываешь занят, когда по телевизору или радио звучит знакомая, словно голос матери, бесхитростная его мелодия.

Понимание приходит с годами. Раньше для меня Юрий Визбор почему-то оставался в тени. Наверное, тогда я еще просто до него не дорос. Или вовремя не почувствовал доброты его необыкновенного голоса. Потому что именно доброта делает человеческий голос необыкновенным. Теперь песни Визбора стали близкими моими друзьями. «Ходики», «Волейбол на Сретенке», «Ночная дорога» – всего и не перечислишь.

Хорошее наступило время. Запросто, не боясь, что вломятся и изымут, на полку можно поставить сборник с песнями Галича, изданный не во Франкфурте, а в Москве. Когда-то, совсем недавно, такое даже не снилось. А теперь – «вот она, эта книжка... снимает ее мальчишка с полки в библиотеке». И тираж ее – 5-10-20-25 тысяч, а не тысяча, как мечтал Галич. Галича изучают в школе, как раньше Тихонова и Суркова. Я вспоминаю фразу, прочитанную у кого-то из эмигрантов: «Некто Пастернак, проживающий по улице имени замечательного писателя Павленко». Возвращаются имена и песни. И сейчас, с высоты времени, понимаешь, что главное в этих песнях – голос. Свой, неповторимый, единственный, не похожий ни на какой другой.

Айвазовский

В книге отзывов в музее Айвазовского в Феодосии еще не очень давно можно было прочитать такие интересные записи:

«Великий русский марионист. Зеркало русского флота», ниже подпись – «Подводники».

«Просмотрел картины Айвазовского. Считаю что-то сверх естественное. Смотришь на картину море забывается где находится, хочется бросить в воду камешек». Подпись: «Панфилов».

«Уходя на трудную и опасную работу, я вдохновляюсь картинами Айвазовского. Думаю это мне поможет». Подписано: «Майор Семенов».

Мой знакомый предприниматель, владелец маленького кафе в крымском городке Богатырка, умел складывать из рыбьих костей картину Айвазовского «Пушкин на берегу Черного моря». Эту картину Айвазовскому помогал писать Репин – Айвазовский рисовал воду, а Репин сушу и Пушкина на утесе.

К образу Пушкина Айвазовский обращался и самостоятельно, без помощи Репина: см. картину «Пушкин у Гурзуфских скал».

Все эти примеры говорят о подлинной народности художника Айвазовского, настоящая фамилия которого Айвазян.

И если английский мариинист Тёрнер был романтиком-метафизиком, море у которого представляет собой туманный размытый фон, то у русского романтика Айвазовского море совершенно реальное, и если даже в нем бывает туман, то туман этот не выдуманный, природный.

Отношение собратьев-художников к творчеству Айвазовского менялось в зависимости от возраста и уровня популярности. Особенно характерно это выражено у Александра Бенуа, в юности восторгавшегося художником, а в старости бросавшего в своих изданных на Западе мемуарах фразочки типа «Зал завешан морями Айвазовского». Наверное, *мир-искусника* раздражала цельность. Действительно, всю жизнь рисовать моря – такое постоянство дано не каждому. Это как всю жизнь любить одну женщину, ни с кем ей ни разу не изменив.

Акриды

Обычно первое, что приходит в голову, когда заходит разговор о святых подвижниках и аскетах, это акриды. Действительно, все мы знаем, что подвижник, совершая пустынный подвиг, сводит свой рацион до минимума, и главное блюдо этого минимума – акриды. Нынче ни для кого не секрет, что под акридами в святых житиях подразумевался обыкновенный кузнечик. Да, тот самый полевой-луговой-степной-пустынный прыгун-кузнечик, который, крылышкуя золотописью тончайших, жил, ел одну лишь травку, не трогал и козявку и с мухами дружил. Кузнечиков запасали в сушеном виде, хранили их и ими питались.

В семидесятые годы века двадцатого в питерской богемной тусовке акридами назывались пельмени. Цитирую К. Кузьминского (в авторской орфографии) из предисловия к книге Леона Богданова «Заметки о чаепитии и землетрясениях» (М.: НЛО, 2002): «Пельмени – 40 коп. пачка (<...> овчина [В. А. Овчинников] их называл акридами, коими в пустыне монахи-схимники питались, – наш обычный рацион: богданова, шемакина, мой, всехний...»

Мой приятель тех лет, диссидентствующий врач-психиатр Андрей Васильев, помнится, любил повторять: «Пока в магазинах продаются пельмени, жизнь продолжается».

Сейчас уже отошли в историю такие популярные в недалеком прошлом заведения общепита, как пельменные, сосисочные, котлетные, блинные, шашлычные, чебуречные, рюмочные, пивные, распивочные и проч. Во всяком случае, в городе Петербурге таковых практически нет. Существовал даже особый поджанр фольклора, посвященный этим святым местам.

Мы, когда были студентами славного ленинградского военмеха – гнезда советского шпионажа, как писали о нем тогда за железным занавесом, – пели, собираясь компанией:

Швейцар закрыл за нами двери чебуречной,
Проспект Майорова приветливо мелькнул,
И ветерок с Фонтанки, словно встречный,
В лицо ударил, словно подмигнул.

От чебуречной лишь два шага до шашлычной...

И так далее, куплетов пять или шесть.

Сейчас настало непонятное время – даже хлеб и тот продается уже в нарезке.

И акрид – то есть, нет, пельменей – в любом продмаге десять разных сортов. А вот пельменных – тех, увы, не осталось. Только в памяти, в песнях да в доброй старой литературе.

Аксёнов В.

...Любовь, как известно, помесь низкого и высокого. Аиста и крокодила. Горек мёд первых любовей, а их бывало с избытком. И Аксёнов одна из них.

Золотое было времечко – шестидесятые годы. Стиляги в «атомных» пиджаках и в ботинках «на манной каше». Первые джинсы, которые тогда назывались «техасами». Джаз, записанный на «костях». А уж эти ужасные мальчишки, хиляющие по «бродвею» с гитарой, – это, конечно, мы, помолодевшие на тридцать пять лет.

Жаль, что вас не было с нами, дорогие молодые читатели.

Перечитайте прозу Аксёнова. Веселый разноцветный язык, на котором он говорит, вдруг да сделает и нас, читателей, веселее. Если, конечно, мы, читатели, не страдаем хронической глухотой.

Аксенов остался прежним, такой же разноцветный язык, такие же незадачливые герои. Ну одежды стали чуть-чуть другие, ну действие многих вещей смещается чуть ближе к Америке. Но так же и грустишь, и смеешься – как от встречи со старым другом. И так же жалко на последней странице расставаться с собственной юностью.

Еще об Аксенове.

В двадцатых числах июня 1999 года мне и разным моим знакомым была послана E-mail-ом анкета, оформленная в виде письма. Текст, который я получил, полностью звучал так:

Уважаемый г-н Етоев!

Тайный оргкомитет Первых Аксёновских чтений, которые состоятся 23 июня с.г. в 18.00 в Крымском клубе (Москва, Кутузовский пр., 3, арт-центр «Феникс»), приглашает Вас принять участие в этой акции.

Вне зависимости от того, будет ли у Вас возможность лично посетить Чтения, просим Вас ответить заранее на важные вопросы:

1. На какое живое существо (птицу, зверя, рептилию, членистоногое, дерево и т. п.) похож В.Аксёнов?
2. Кем (каким) В.А. мог быть в прежней жизни?
3. Кем (каким) В.А. может оказаться в следующей?
4. На какие темы Вы побеседовали бы с В.А., оказавшись с ним в ближайшие дни попутчиком в самолёте?
5. Прочли ли Вы последний роман В.А. «Новый сладостный стиль»?
6. Чего Вы пожелали бы В.А.?

Дополнительные вопросы:

1. Роль В. Аксёнова в истории русской литературы.
2. Роль В.А. в становлении его эпохи.
3. Роль В.А. в его собственной судьбе.
4. Роль В.А. в Вашей собственной жизни (вплоть до малейших вкусовых, поведенческих и т. п. влияний).
5. В чём уникальность писателя Аксёнова.

Наш адрес: sid@rinet.ru, телефон (095): 345-59-13.

Ваши ответы станут вкладом в сокровищницу мировой культуры.

Считаем себя обязанными сообщить, что близящиеся Чтения – псевдонаучные и входят в цикл акций Крымского клуба «Первые чтения» или «Коллекция интеллектуальных и художественных жестов в сторону знаковых фигурсовременного искусства» (в 1999 г. проведены Первые Рубинштейнианские, Некрасовские, Приговские чтения).

С надеждой,
Сид.

Р.С. Василий Павлович, почётный Президент Крымского Клуба, прибывает в Москву из Вашингтона накануне Чтений и непременно примет в них участие. Ваш ответ будет озвучен

во время Чтений и через некоторое время помещён на открываемом в августе 1999 г. сайте Крымского клуба.

Сегодня, в первый день рассылки вопросника (на 21.30 18.06.99 г.) на наши вопросы уже ответили Борис Стругацкий, Михаил Успенский, Максим Мошков, Баян Ширянов.

Не особенно долго думая, я сел за клавиатуру компьютера и скоренько настучал ответ:

Уважаемый тайный оргкомитет!

Отвечаю по пунктам на присланные Вами вопросы.

Основные вопросы.

1. На воздушный шар – самое живое из всех существующих во вселенной живых существ.

а) Воздушный шар – универсальная форма жизни; он одновременно и птица, и зверь, и рептилия, и членистоногое, и дерево, и т. п.

б) Воздушный шар – отражение человека будущего в зеркале современности.

в) В небе грустно без воздушных шаров.

2. Джонни Яблочным Зерном. Был такой реальный человек в истории молодой Америки, который ходил по стране с мешком яблочных зерен и насаживал повсюду яблоневые сады.

Он же, кстати, первый придумал бейсбольную кепку с сильно вытянутым вперед козырьком.

3. Памятником, кем же еще? Моего дедушки Александра Сергеевича с книжкой Етоева в руке.

4. На самые ординарные – быт, здоровье, погода. Может быть, немного о литературе: спросил бы, почему он перестал писать для детей. Дети ведь тоже люди. «Мой дедушка – памятник» давно уже зачитан до дыр. Пора бы переиздать.

5. Стыдно. Год уже как лежит на тумбочке на расстоянии полувытянутой руки, а руку все не протянуть полностью – мешает сволочная работа. Но желание прочесть – острое.

6. Первое: добрых и справедливых читателей. Второе: не обижаться на дураков и лентяев.

Дополнительные вопросы.

1. Как роль Петра I в русской истории.

Прорубил окно в Америку. Избавил литературу от вшивости. Сбрил бороды и ввел в литобиход джинсы и ботинки на «манной каше». Вместо ансамбля «Березка» утвердил джаз. И так далее.

2. Самая непосредственная. В. Аксенов и поколение его читателей не дали неоперившемуся птенцу свободы: а) пригреться в теплом навозе священной коммунистической коровы; б) замерзнуть, когда ветер в стране сменил направление – с юго-западного умеренного на холодный с севера и востока, то бишь из мордовских лесов и прочих заповедных мест СССР.

3. Как литературный герой порою вдруг выходит из-под контроля автора и начинает жить самостоятельной жизнью, так и автор, подобно этому своему герою, может выйти из-под контроля жизненных обстоятельств и управлять ими по своему разумению.

По-моему, с В. Аксеновым происходило и происходит нечто подобное.

4. Я никогда не был ничьим фанатом. Фанат, по определению, человек слепой и глухой. Хорошо бы он был еще немой и безруким.

Поэтому богом Василий Аксенов для меня никогда не был.

Он был (и есть) для меня просто живой писатель, показавший живую жизнь, вкрапленную, как пузырек воздуха, в застывшую мертвую массу, которая нас всех тогда окружала.

Я человек эпохи бочкотары, глядите, как на мне топорщится пиджак... Топорщащийся пиджак героев Аксенова мы примеривали к себе. И топорщащаяся проза его рассказов, его блистательная фантаσμαгоричность, его «Затоваренная бочкотара», «Стальная птица», «Мой

дедушка – памятник», «Золотая наша железка», «Поиски жанра» и прочее были как праздничный карнавал, как веселое первомайское шествие, где злодеи соседствуют с мудрецами, а негодяи необязательно берут верх над праведниками, как обычно бывает в жизни.

По-настоящему вещи Аксенова вошли в мою жизнь довольно поздно – где-то с середины 70-х, когда гремевшие десятилетием раньше «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», «Коллеги», «Пора, мой друг, пора» давно отгремели и воспринимались уже как классика.

Это было время Галича, расцвет диссидентства, самиздата и тамиздата, и поэтому романы Аксенова, особенно изданные за бугром («Стальная птица», «Ожог»), укладывались в контекст охватившего тогда умы вольнодумства.

Когда, уже в 90-х, я перечитывал эти вещи, то прежде всего внимал их неординарной эстетике, а не их политическому заряду. В 70-е же они горячили кровь скорее своей актуальностью и более напрягали мышцы рук и лица, чем те закоулки мозга, что ведают эстетическими пристрастиями.

В конце 80-х, в самом начале горбачевских реформ, я даже написал письмо в журнал «Крокодил» после того, как там напечатали возмущенные письма читателей, якобы бывших когда-то поклонниками творчества Аксенова, но после его антисоветских выступлений на Западе готовых выбросить книги писателя на помойку. Зачем на помойку, писал я в письме, лучше пришлите мне, и далее я прилагал список книг, которые я в то время безуспешно пытался отыскать.

Не знаю, как на меня повлияло творчество Василия Аксенова. Видимо, повлияло, как вообще влияют хорошие книги на творчество любого писателя.

5. В чем уникальность писателя Аксенова? В чем вообще уникальность любого хорошего писателя? Это вопрос таинственный и очень индивидуальный. Сколько у писателя читателей, столько, видимо, будет и ответов на этот вопрос. А у Аксенова читателей много, я интересовался и знаю. Что касается меня, то мой ответ складывается из суммы предыдущих ответов.

Не знаю, был ли мой ответ озвучен на Чтениях, да это, собственно говоря, и не важно. Главное, анкета дала мне повод высказать свое мнение о писателе, который для меня дорог. Мне этого более чем достаточно.

P.S. «Литературная газета» прокомментировала эту клубную акцию так:

«Крымский клуб под занавес провел Аксеновские чтения, пригласив Василия Павловича послушать, что скажут о нем исследователи и поклонники; вторые явно возобладали, хоть и аттестовали себя по большей части критиками и филологами, а потому мероприятие проиграло в зрелищности аналогичным акциям, героями которых были более радикальные авторы...».

Оставляю этот комментарий без комментариев.

«Актёрская книга» М. Казакова

Я очень хорошо помню, как в начале 60-х в кинотеатре «Рекорд», что на углу Лермонтовского и Садовой, первый раз показывали «Человека-амфибию». Мы, мальчишки, бегали чуть ли не каждый день смотреть этот чудо-фильм, кланчивали у родителей деньги, на утренники по воскресеньям в кинотеатр было вообще не пробиться – билет на утренние сеансы стоил тогда десять копеек, на копейку дешевле, чем эскимо, – и мы завидовали тем редким счастливым, кто по болезни не ходил в школу и мог не пропускать ни одного утренника по будним дням.

А потом, после фильма, мы сидели где-нибудь во дворе, на крыше какого-нибудь сарая (во дворах тогда еще доживали свой век сараи), и пели о морском дьяволе, влюбившемся в красавицу Гуттиэре, и о коварном Педро Зурита, охотившемся за человеком-рыбой.

«Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно», – горланили мы звонкими голосами.

«Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино», – подхватывали гулкие подворотни и глухие коломенские дворы.

«Педро Зурита на своем корыте хотел его поймать...» – отвечали мутные волны пиратской реки Фонтанки.

Таким я себе и вижу его с тех пор – тонким узколицым красавцем со злодейским прищуром глаз. Кто из нас тогда знал, что отец его – известный писатель, сполна хлебнувший и милостей, и опалы от великих мира сего? И рассказ Василия Аксенова прочитали мы много позже – про то, как герой молодежи, знаменитый артист Козаков прогуливался в 1956-м по Невскому, а сзади за ним тянулась толпа стилиг – у всех через плечо шарф, в зрачках – драматическая свеча, в точности как у их кумира. И как кумир заходил в рюмочную и, приглашая всех щедрым жестом, провозглашал: «Всех угощаю! Выпьем за искусство, за будущее!»

«Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино», – жаль, что этого «там» у нас уже никогда не будет.

«Актерская книга» написана очень эмоционально. Это личный рассказ о судьбе актера, украшенный множеством зримых деталей. О чем бы и о ком бы Козаков ни писал – о детстве ли, прожитом в Ленинграде, в писательском доме между каналом Грибоедова и улицей Софьи Перовской (теперь она Малая Конюшенная), о роли Гамлета, которую он сыграл у Охлопкова, об Олеге Ефремове и его «Современнике», о чеховской «Чайке», сыгранной в Израиле на иврите, – нигде мы не найдем общих мест или избитых мыслей. Людей, о которых Козаков пишет, он как бы проигрывает перед нами на сцене. Он и когда пишет – актер. Совершенно замечательно передана, к примеру, выхваченная из детства сцена, когда «дядя Женья Шварц», изображая покупателя и кассиршу, выбивает на своем лице 28 рублей 43 копейки, поочередно мигая то правым, то левым глазом и шевеля носом. А насколько зримо описана сцена с Шкловским у Эйхенбаума и «кочергой русского формализма».

Таких примеров в «Актерской книге» десятки, если не сотни.

Каждый читатель найдет в ней что-нибудь для себя. Не найдет он в ней только одного – скуки.

Акутагава

Великое свойство гения – открытость миру. Мысль эта старая, об этом говорил еще Достоевский в своей пушкинской речи. Удивительно, сколько знаменитых произведений рождено на стыке совершенно разных культур. Европа, открывшая для себя Восток, дала миру Гете и немецких романтиков. Америка дала Вашингтона Ирвинга и его «Альгамбру». Немецкие романтики вдохновили Гоголя, Вашингтон Ирвинг подтолкнул Пушкина на создание «Сказки о золотом петушке». А взять новые времена. Герман Гессе и Сэлинджер. И совсем новые. Наш Пелевин.

Япония дала миру Акутагаву. С тем же правом можно сказать, что Акутагаву дала миру Европа. И Америка. И Россия. Вселенная.

«Жизнь не стоит и одной строчки Бодлера», – напишет он в конце жизни.

А в начале жизни или, может быть, в середине, увидев в витрине книжного магазина репродукцию голландца Ван-Гога, он поймет, что такое живопись. И с тех пор станет пристально вглядываться в изгибы веток и овал женской щеки.

Великий писатель Акутагава – человек мира, всю жизнь проживший в Японии. Истоки его таланта лежат на японской почве. Он чувствовал эту почву, лисьи чары старой японской прозы рождали его фантастику. Скупая точность японской живописи придавала ей особую силу. Европейская роскошь Флобера расцветчивала ее в космополитические цвета. Он свободно впускал на свои страницы героя гоголевской «Шинели», переписывал по-японски Свифта, мост через Совиный ручей переносил на родную землю. Кем он был? Для чего он жил?

Он шел с одним студентом по полю.

– У вас у всех, вероятно, еще сильна жажда жизни, а?

– Да... Но ведь и у вас...

– У меня ее нет! У меня есть только жажда творчества, но...

– Жажда творчества – это тоже жажда жизни.

Он ничего не ответил. За полем над красноватыми колосьями отчетливо вырисовывался вулкан. Он почувствовал к этому вулкану что-то похожее на зависть. Но отчего, он и сам не знал.

Это отрывок из повести «Жизнь идиота». «Он» – это сам писатель, творчество ставивший выше жизни. Это тоже главное свойство гения – ставить творчество выше жизни.

Далеко, на востоке мира, отчетливо проступает вулкан. Я чувствую к нему что-то похожее на зависть. Я знаю, отчего.

Анекдот

Этот литературный жанр ближе всего к фольклору, в нем, как и в фольклоре, трудно выявить автора. Автор, понятно, есть, но он не претендует на авторство, а если бы даже претендовал, это было бы само по себе анекдотом из-за абсурдности подобной претензии. Есть, конечно, случаи исключений, когда кто-то из писательской братии печатает анекдот в книге, таким образом визируя его своим копирайтом и превратив анекдот в товар. Или нынешние эстрадники, которые, как плесень или грибок, с какой-то устрашающей быстротой размножаются в ящиках телевизоров, те тоже питаются анекдотами по недостатку собственного таланта.

Вообще же, публикация анекдота в печатном виде противоречит определению жанра: по-гречески «анекдот» – «неизданный». Единственное, что оправдывает появление таких публикаций, – академическая фиксация текста как факта литературной истории. Опять же такую книгу удобно иметь в компании. Как во времена моего детства в какой-то момент застолья родители извлекали из шкафа песенник, так, наверное, и в наступившие времена на смену песеннику пришел анекдотник.

Говорят, что все анекдоты придумывает один человек. Если так, то он или вечный жид Агасфер, или какая-то новая ипостась Бога, или сам Бог и есть, что очень даже правдоподобно.

А еще говорят, что все анекдоты придумывает спецотдел ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ (чего там еще на «Б»?) и специально провоцирует население, чтобы проще было решать проблему заполнения наших тюрем и лагерей.

А еще «еще говорят», что самый первый анекдот родился в Одессе. См., например, Высоцкого:

Лучший юмор в мире – это юмор наш,
Первый анекдот родился здесь, и
Лучший пляж на свете – наш одесский пляж,
Лучший вид на море – из Одессы.

Очень хорошо про анекдот написал петербуржец Сергей Коровин в мемориальном очерке о Сергее Хренове («Беспокойники города Питера». СПб.: Амфора, 2006).

«Есть люди, – пишет Коровин, – кого занимают проблемы вроде того, что вот был, например, Чапаев когда-то – реальный унтер-офицер, полный георгиевский кавалер, потом красный командир; и есть герой романа Фурманова; и ходит по свету персонаж анекдотов, так вот: как они все между собой соотносятся? Но мы тут не будем ломать свои головы: как, как? Да неизвестно как, потому что всю твою жизнь от рассвета до заката – фабулу трагедии и все детали – знает только Бог и никому не говорит, а Фурманов, хоть и был знаком с тем красным команди-

ром, в своем произведении решает задачи сугубо сюжетные – нечеловеческие, и Чапаев у него какой-то немислимый пидарас, выкованный с головы до ног из чистой стали, а что до анекдотов, то традиция пародийной травести известна с гомеровских времен и ничего не отражает – там Геракл – обжора и пьяница, а Одиссей, чтобы уклониться от участия в войне, симулирует безумие в дурацком колпаке, то есть, конечно, анекдот – народная мифология – пересказывает отдельные моменты сюжета, но без эпического пафоса. Пафос совершенно чужд обыденной жизни, вот почему анекдот переводит героя на арену повседневности, тем самым занижая его до уровня обыкновенного человека».

И возвращаясь полустраницей позже к Чапаеву, Коровин заключает: «Если бы мы спросили Чапаева, где он хотел бы обрести бессмертие, то есть персонажем эпоса, романа или анекдота, то неизвестно, что бы он выбрал».

Вот такая сложная и простая штука – его шутейшество/величество анекдот.

Антисанитария и личная гигиена в литературе

Примеры чисто утилитарного подхода к поэзии известны издавна. Медицинские трактаты в стихах, стихотворные лечебники, травники и тому подобная агитация вещей полезных и нужных всякому здоровому человеку ходили в списках и всегда издавались в первую очередь, т. е. раньше настоящей поэзии. Вот пример народной лубочной агитки середины XIX века на тему антисанитарии и личной гигиены русского человека (Хрестоматия по детской литературе. Том 1. М., 1940):

Оглянись назад, Ипатка,
Чтоза чучелы там ходят,
То Антипка и Филатка
Все одни как стены ходят.
Их все девки убегают,
В хороводы не пускают.
Не пугайтесь так вы нас,
Были б мы не хуже вас,
Нас отцы наши сгубили,
Коровьей оспы не привили.
Как наносная напала,
Так и рожинам вспахала.

Аполлинер

Аполлинер был похож на римлянина, и друзья его называли в шутку «le Pape» – Папа Римский. Он увлекался классической латинской культурой, любил и ценил ее, но никогда свою любовь не выставлял напоказ, наоборот, если в разговоре кто-нибудь упоминал имя Расина, Аполлинер мог переспросить говорившего: «Расин? Ах да! Это вроде такой поэт...» В жизни Аполлинер занимался всякими непоэтическими вещами. Служил в Париже биржевым маклером. Издавал порнографические книжки. Вообще был яростным пропагандистом запрещенных изданий – первым издав, пусть в усеченном виде, маркиза де Сада. Аполлинера обвинили в краже из Лувра «Джоконды», и десять дней поэт провел за решеткой, питаясь отваром из желтых кувшинок и написав там одно из лучших своих стихотворений «В тюрьме Санте». Французского гражданства Аполлинер не имел, по происхождению он был из поляков (настоящее имя поэта – Вильгельм Аполлинарий Костровицкий), и поэтому каждый месяц был вынужден отмечаться в полицейском участке. Во время Первой мировой войны Аполлинер добровольцем пошел на фронт. Умирал, раненый в голову, в итальянском госпитале, перенес трепанацию черепа, выжил и был удостоен ордена Почетного легиона. Умер Аполлинер в Париже в

1918 году от «испанки» и перенесенного фронтового ранения. В день его смерти официально было объявлено об окончании войны, и весь Париж праздновал и веселился. В тот же день, когда объявили мир, в Париже умирает Ростан. Две процессии тянутся за двумя катафалками, в обоих лежат поэты.

Мать Аполлинера говорит тем, кто обращается к ней с соболезнованиями: «Мой сын поэт? Бездельник он, а не поэт. Вот Ростан – поэт!»

Такова краткая история жизни поэта Гийома Аполлинера.

Апухтин А.

Льется вино. Усачи полукругом,
Черны, небриты, стоят, не моргнут,
Смуглые феи сидят друг за другом:
Саша, Параша и Маша – все тут...
Липочка «Няню» давно пробасила...
«Утро туманное» Саша пропела...

Хороший поэт Апухтин, что там ни говори – хороший. И этот отрывочек из его цыганского цикла, который я вам привел, подтверждает мои слова.

А совсем недавно я перечитывал любимого моего поэта Олега Чухонцева и нашел у него из Апухтина эпиграф: «Садись ко мне поближе, говори...» То есть до сих пор апухтинская поэзия подвигает кого-то на новое, на своё. А это уже знак качества – раз подвигает.

Да, он был меланхолик и нелюдим, но кто, положи руку на сердце, не без этого? Да, стихи его порою упаднические и не влекут нас к светлым высотам, не зовут на подвиг и труд. Но иногда нам мило и маленькое болотце, особенно если там морошка и клюква, а печка и усталая лень иногда привлекают больше, чем переход Суворова через Альпы.

Апухтину, между прочим, в возрасте двенадцати лет уже прочили славу Пушкина. Конечно, погорячились, но тем не менее такой факт имел место быть. Сам же поэт не носился со своими стихами, как с писаной торбой, и не кричал на каждом углу о своей гениальности. Стихов своих не берег, сам их никогда не печатал, и то, что опубликовано после смерти, оказалось сохранено благодаря родственникам и знакомым. Может ли какой-нибудь из поэтов нынешних рассчитывать на такое к себе посмертное отношение? Да большинство из них просто забудут к дьяволу вместе с их рифмоплетством и бумагомаранием. А вот Апухтина люди помнили и любили. Поэтому и сохранили для нас.

Форму своего творческого поведения Апухтин определял как дилетантизм. «Я дилетант, я дилетант», – повторяет он в своем едва ли не программном стихотворении, которое так и называется – «Дилетант». Он сознательно отрешивается от писательства как профессии и всячески язвит по отношению к большинству современных ему авторов, называя их политиками и семинаристами. Даже типографский станок, по Апухтину, изобретение дьявола: станок «обесценивает» созданное произведение. Он и рукописей-то своих не хранил, а что и было, сам же уничтожил. То, что есть апухтинского в печати, сохранилось благодаря друзьям, переписывавшим его стихи в тетради. Вот такой был поэт Апухтин, и принимать его нужно именно исходя из этого.

Нынешнее поколение связывает имя Апухтина исключительно с романсом «Пара гнедых»:

Пара гнедых, запряженных с зарею,
Тощих, голодных и грустных на вид,
Вечно бредете вы мелкой рысцою,

Вечно куда-то ваш кучер спешит...

И далее – про хозяйку этих состарившихся лошадок, про былую ее красоту, про бывших любовников:

Грек из Одессы и жид из Варшавы,
Юный корнет и седой генерал —
Каждый искал в ней любви и забавы
И на груди у нее засыпал...

Потому я так подробно остановился на этом известном стихотворении, что в нем, как в капле, отражается суть апухтинской музыки, виден весь его мир, поэтический и реальный. Гедонизм, чувственность, желание взять от жизни как можно больше, презрение к труду «как величайшему наказанию, посланному на долю человеку» и вместе с тем острое ощущение скоротечности жизни, ее обманчивости и возникающее на этой почве разочарование.

«Цыганские, апухтинские годы» – так назвал Александр Блок эпоху 1880-х годов, закончившуюся всемирным обвалом и переходом на новый круг.

«Аран Петра Великого – 2» В. Белоброва и О. Попова

Эта книжка – настоящий маленький (из-за ее объема) шедевр. Сам учитель А. Пушкин с радостью согласился бы поставить свое побежденное имя рядом с именами победителей-учеников Белоброва и Попова. Книжка раскрывает одну из тайн отечественной истории, а именно тайну Занзибала, брата единокровного Ганнибала, того, от которого род Пушкиных и сам Александр Сергеевич происхождение ведут. Шедевр же книжка не потому, что про Занзибала; шедевр она потому, что веселая, интересная и живая по сюжету, картинкам и языку. Если б я написал такую, я б три дня ходил сам не свой, как Блок, когда написал «Двенадцать». И говорил бы встречным и поперечным: «Какой я мельник, я – гений!»

«Арбат, режимная улица» Б. Ямпольского

Если вы любите прозу Бабеля и краски Шагала, вы полюбите эту книгу. Если у вас замирает сердце от мелодии «Книги Иова» и начинает бешено колотиться от радостной «Песни Песней», вы полюбите эту книгу. Я стыдился, что так поздно ее открыл для себя. Я завидую тем, кто прочитает ее впервые. Эта книга веселья сердечного и печали сердечной. Эта книга очень еврейская и очень всечеловеческая. Я отказываюсь исправить безграмотность предыдущей фразы. Пусть останется так как есть – «очень всечеловеческая», я настаиваю.

Когда-то меня сильно раздражали «избранные сочинения» писателей. Я имею в виду писателей, которые не могут постоять за себя. Потому что их уже с нами нет. Раздражали тем, что кто-то мне неизвестный избирает произведения так, как хочется не мне, а ему. Навязывает мне свои вкусы. Нарушался принцип свободы выбора, и это мне сильно не нравилось.

Посмертно выпущенная книга Бориса Ямпольского в этом смысле выглядит сбалансированной и цельной. Ну, может быть, стоило поменять местами роман и повесть – чтобы читатель сразу же, с головой, погрузился в безумный мир местечковой ярмарки и увидел, как «тяжело прошла женщина с железной ногой, пронесся загадочный человек в синих очках...». Как «понурые евреи вели танцующих медведей в железных ошейниках и ошалелых рыжих мартышек; колючих ежей, приученных к ласке, и наглых ярко-желтых попугаев, обученных матерщине».

Уже после, когда книга была прочитана и прочувствована, мне попались на глаза строчки Иосифа Бродского, настолько точно передающие суть моих ощущений от чтения, что я удивился странному этому совпадению:

Что нужно для чуда? Кожух овчара,
щепотка сегодня, крупица вчера,
и к пригоршне завтра добавь на глазок
огрызок пространства и неба кусок...

А потом я понял: ничего удивительного. Ведь существо чуда в том именно и состоит, что вмещает в себя всего человека сразу – и вчерашнего, и сегодняшнего, и завтрашнего. И мир, в котором живет человек, со всеми его страхами, радостями, рождениями, смертями, надеждами, существует не где-то рядом, он находится внутри человека.

И есть река, в которую можно ступить дважды; называется она – наша память.

Арцыбашев М.

В первую очередь писатель Михаил Арцыбашев – автор романа «Санин». Позволю себе привести довольно пространную цитату из Василия Розанова по этому поводу:

- Дайте мне «Санина» Арцыбашева.
 - Запрещен.
 - Запрещен?!!
 - Запрещен и весь продан.
- Я так удивился, что вмешался в разговор приказчика и покупателя.
- В самом деле такое совпадение?
 - Да. Весь распродали. И когда распродали, то пришло запрещение: не продавать более.

Далее Розанов комментирует этот курьезный факт:

Ну, чисто «по-русски»! Печаталось, что «Санин» разошелся в эту зиму в сотнях тысяч экземпляров, о нем долго и много говорила вся печать, начав целый поход против него; им обзавелись все библиотеки, все книжные шкафы и студенческие «полочки» для книг, и в то же время печаталось, что «не разрешены к представлению на сцене» семь – целых семь! – театральных переделок романа. И когда все это произошло и шумело целую зиму, приходит в литературу генерал-исправник, важно садится в кресло и произносит:

- Я запрещаю «Санина».

Запрет на книгу – и в те времена, и в эти – означает самый мощный пиар роману, какой только может быть. И соответственно все книги писателя, написанные и до и после, также обречены на успех.

Роман не приняли ни прогрессисты, ни революционеры, ни черносотенцы. Церковь грозила автору романа анафемой. Против Арцыбашева по инициативе Синода было начато уголовное дело по обвинению в порнографии и кощунстве.

Сам Арцыбашев называл себя «единственным представителем экклезиастизма» в литературе, а своим предшественником объявил не кого иного, как библейского царя Соломона.

С 1923 года Арцыбашев эмигрант, живет в Польше, в Варшаве, активно сотрудничает в белогвардейских изданиях, выступая «с позиций крайнего антисоветизма», как пишут в соответствующей статье «Библиографического словаря русских писателей» М. П. Лепехин и А. В. Чанцев.

«Атака заката. Музыка палиндрома» М. Медведева

Один мой знакомый писатель, тоже в свое время грешивший этой хитрой поэтической формой, однажды мне по секрету признался, что не покончи он вовремя с этим опасным делом, то вязать бы ему сейчас веники на Пряжке или в Скворцова-Степанова.

То есть известная строчка Высоцкого про поэтов, которые пятками ходят по лезвию... и т. д., к поэтам-палиндромистам (или палиндромщикам? Не знаю, как правильно) применима на 100 %.

Поэтому я склоняю голову перед мужеством этих сильных людей и перед автором этой книжки в частности.

Казалось бы, все дело в уме, в способности видеть строчки в пространстве, чтобы бегать по ним туда и обратно, отбраковывая неправильные слова. Нет, оказывается, не так, не в одном уме дело, нужно еще и то, что люди творческие называют «талант». Без таланта палиндром не сочинишь, разве что какую-нибудь уродину, вроде «топот» или «кабак».

Скажите, ну разве не гениален такой вот поэтический перевертыш:

И-и-и!
Моцарта – матрацом!

Это из маленькой полиндромической поэмки Михаила Медведева «Минор уроним». И ведь вся поэма не просто упражнение в палиндромической технике. Она о музыке. О Моцарте и Сальери. О гении и злодействе, которые даже в палиндроме не совместимы.

А вот отрывок из другого стихотворения-перевертыша:

Оголи жопу пожилого,
а там окна банкомата,
и
Макаренко в окне – раком:
«Ково, совок?...»

Здорово, ничего не скажешь. Это вам не роза на лапу Азора, это умно и весело, и, главное, попадает в точку.

Ахматова А.

Трагическая и гордая фигура Анны Ахматовой в русской литературе, пожалуй, не имеет аналогов. Вообще, женщин в литературе можно пересчитать по пальцам. Гениальных же – и того меньше. Ахматова – гениальна бесспорно. Лишь для тугоухих людей требуются этому доказательства. Но для тугоухих людей и Пушкин – только памятник в сквере. И надо было такому случиться, что подонок на генеральском посту публично на всю страну обозвал гения шлюхой. Отголосок 46-го года докатился и до поздних времен. Я очень хорошо помню, как на уроке литературы в школе (было это в 1970 году) моя классная воспитательница Мария Пантелеймоновна Вишнева говорила, примерно, следующее: «В то время, как поэт Алексей Сурков воевал на фронте с фашистами, такие поэты, как Ахматова, отсиживались в тихом Ташкенте». Почему-то преподавательница не вспомнила, что в Ташкенте в военные годы «отсиживался» и Алексей Толстой, который, кстати, был не женщиной, а мужчиной.

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Эти строки из эпиграфа к «Реквиему» можно отнести не только к 37 году, о котором поэма была написана, но и ко временам военным. Да что там говорить – и в мирные, послевоенные годы эти строчки звучали столь же трагически актуально, особенно для русской поэзии. Потому что мирных времен для поэзии выпадает очень немного. А для поэзии Анны Ахматовой их было и того меньше.

Б

Бабель И.

Еще не улеглась пыль от грохота копыт бабелевской «Конармии», а красный кентавр Буденный уже бьет по клеветнику-писателю сталью негодующих слов: «Он смотрит на мир, “как на луг, по которому ходят голые бабы, жеребцы и кобылы”... Для нас это не ново, что старая, гнилая, дегенеративная интеллигенция грязна и развратна. Ее яркие представители: Куприн... и другие, – естественным образом очутились по ту сторону баррикады, а вот Бабель, оставшийся, благодаря ли своей трусости или случайным обстоятельствам здесь, рассказывает нам старый бред, который преломился через призму его садизма и дегенерации, и нагло называет это “Из книги Конармия”...»

Сегодня творчество Бабея изучают в школе. Бабель – классик, и это не удивительно. Удивительно, что этот факт так долго не признавали красные вожди государства. Впрочем, и это не удивительно. У вождей своя правда, а у литературы – своя.

«Конармия» – фантастическая поэма о революционной войне, и именно ее фантастичность сделала ее подлинно жизненной. Жизненность в искусстве – это не следование канонам жизни. Это не списывание с действительности, а придумывание ее заново.

«И “Сорок первый” Бориса Лавренева и “Железный поток” Александра Серафимовича тоже правда, но это скорее правда жизни, нежели правда литературы, и оттого правда скучная, как диагноз», – пишет Вячеслав Пьецух в своей статье о творчестве Бабея.

И далее продолжает: «Только всевидящее око большого таланта способно углядеть все ответвления правды и сфокусировать их в художественную действительность, каковая может быть даже более действительной, нежели сама действительность, тем, что мы называем – всем правдам правда».

Проза Бабея есть поэзия бунтующей плоти. Смертной плоти, которую только и можно было воспеть языком одесских биндюжников и бандитов и красками жизнелюбивых фламандцев. Он и сам был человеком необыкновенным, как его необыкновенная проза. Перепробовал в жизни все, испытывая особую тягу к вещам, лежащим на грани.

«Лишь то, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения» – эти пушкинские слова применимы к Бабею целиком и полностью.

Он воевал на всевозможных фронтах, работал в «чрезвычайке», наблюдал в глазок кремацию Эдуарда Багрицкого, в Киеве ходил смотреть на голубятника, застрелившего другого голубятника из обреза, приятельствовал с наркомом Ежовым. Писал он трудно и медленно, а как – этого не видел никто.

Но пережитое, увиденное и придуманное сплавлялось в единый стиль, который называется языком Бабея.

Бадигин К.

С именем Константина Бадигина, писателя, полярника, исследователя Севера, капитана ледокола «Георгий Седов», совершившего в 1937–40 гг. знаменитый дрейф в Ледовитом океане, связана неприятная филологическая история, тень которой долгое время давила и на самого Бадигина, и на удивительного мастера художественного слова, писателя и художника Бориса Шергина, ставшего невольным инициатором скандала, разразившегося в академических кругах.

Суть истории в следующем. Бадигин в начале 50-х писал диссертацию о ледовых плаваниях русских людей в древние времена. Борис Шергин, друживший с Бадигиным, передал ему некоторые материалы из своего архива, в частности так называемый «Морской уставец

Ивана Новгородского», подлинник которого, хранившийся в Соловках, Шергин, будучи подростком-гимназистом, переписывал в 1910 году. Копия была далеко не первой, восстановленной по памяти Шергиным в середине 20-х годов, когда писатель читал перед юношеской аудиторией цикл рассказов о Русском Севере.

Сам «Уставец» написан в XV веке и рассказывает о «хождении Ивана Олельковича, сына Новгородца» на Гандвик, Студеное море. Ничего в этом оригинального нет, никто из ученых не оспаривает, что русские промышленники еще в XV веке ходили в северные моря. Но в «Уставце» говорится, что Иван Новгородец ходил морскими путями, которыми ходили его деды и прадеды.

И Константин Бадигин в своей диссертации делает вывод: «Мы относим начало русского мореходства к XII веку».

Мнение Бадигина разделили многие ученые, в том числе академик А. Тихомиров и известный ученый-полярник Отто Юльевич Шмидт, и решение Ученого Совета географического факультета МГУ после проведенной защиты было такое: «Просить Ученый Совет МГУ присвоить Герою Советского Союза К. С. Бадигину степень кандидата географических наук».

Когда, уже после присуждения степени, на одном из съездов Географического общества Бадигин делал доклад о своем открытии, один из краеведов Севера (К. П. Гемп) публично подверг сомнению подлинность представленных съезду материалов.

В ответ на это обвинение НИИ Арктики обратился в Пушкинский дом с просьбой рассмотреть представленные Бадигиным материалы. И эксперты (известные ученые Д. Лихачев, В. Адрианова-Перетц, В. Малышев) выдали заключение: «Бадигин привлек к исследованию грубые подделки под старинные документы и на основании их пытался пересмотреть всю систему наших знаний о великих русских географических открытиях... подобные исследования принесли не пользу, а вред нашей науке».

Затем последовала статья в «Литературной газете», направленная против Бадигина и Бориса Шергина. Шергин в ней обвинялся в сознательном подлоге с целью поправить свое материальное состояние, якобы промотанное в результате беспробудного пьянства.

Обвинения абсолютно не соответствовали истине, тем более что Шергин вообще алкоголя не употреблял, и писатель одно за другим шлет письма во все инстанции, пытаясь оправдать Бадигина и защитить свою правоту. Результата это не дало никакого. Шергина перестали печатать, зарубили готовившуюся в Географгизе книгу и потребовали возратить аванс. И только вмешательство Леонида Леонова выправило несправедливую ситуацию: книга Шергина «Океан – море русское» вышла в 1959 году, но не в Географгизе, а в «Молодой гвардии».

Бальмонт К.

Бальмонт был человеком незаурядным, особенно когда дело касалось выпивки. Вот что писал по этому поводу композитор Игорь Стравинский:

«Я не был знаком с Бальмонтом, хотя и видел его... (ярко-рыжие волосы и козлиная бородка) мертвецки пьяным – обычное для него состояние от самого рождения до смерти».

Известен случай, когда Бальмонт вместе с друзьями собирался на какой-то концерт, дожидаясь их в гостиничном номере. Так вот, друзья, зашедшие за поэтом в номер, нашли его *недождавшимся* уже до такой степени, что порешили оставить стихотворца как есть, взяв слово с гостиничной прислуги, чтобы тому больше ни грамма не наливали. Бальмонт после ухода друзей потребовал у прислуги выпивки, а когда та ему в выпивке отказала, нашел в номере бутылку одеколона и опорожнил ее в два глотка. Потом начал крушить на лестнице мраморные статуи негров. Самое в этом случае любопытное – то, что Бальмонта несколько не наказали. Оказывается, хозяин гостиницы был страстным почитателем его лиры и списал причиненные разрушения на счет заведения.

Бедный Д.

Странно, что мужик вредный Демьян Бедный ни разу не издавался в Большой серии «Библиотеки поэта», как всем хотелось бы, а был издан лишь в Малой серии. Это несправедливо, ведь говорят, что именно он убил в кремлевском саду и собственноручно в железной бочке сжег эсерку Фанни Каплан, якобы помилованную Лениным. Тем более что к поэзии – в той форме, в какой ее понимал и пропагандировал Демьян Бедный, – это имеет прямое отношение. Форма же эта – поэтическая агрессия, та самая знаменитая заряженная винтовка, временно – на период строительства коммунизма – приравненная к перу. Даже в современной Демьяну Бедному критике его стихи иначе как «агитками» не назывались. Хотя в народе самого Бедного считали сыном кого-то из великих князей. Действительно, если твоя паспортная фамилия Придворов, значит, ты родился не иначе как при дворе, и – это уж само собой – при дворе царском.

Примеры поэтической стрельбы Бедного по живым мишеням приводить не буду, отстрелялся он в 1945 году. Но вот что интересно, спустя семь лет, в 1952 году, «Правда» публикует партийное постановление с таким ненавязчивым заголовком: «О фактах грубейших политических искажений текстов произведений Демьяна Бедного». Не трудно себе представить судьбу тех, кто этими «искажениями» занимался.

Кстати, в одной из инструкций 1929 года по поводу чисток советских библиотек говорится: «из стихотворений достаточно иметь – Пушкина, Некрасова, Демьяна Бедного, и довольно. Остальных старых и новых, дворянских и буржуазных поэтов достаточно иметь в тех выборках, какие дают хрестоматии».

Поэтому я и начал заметочку про Демьяна Бедного с естественного читательского недоумения: «Почему в Малой, а не в Большой, как Пушкина и Некрасова?»

Белинский В.

Русский «патриот» пошел от Карамзина, певец – от Пушкина, ученый – от Ломоносова. Но от Белинского пошел кто-то еще важнейший, еще более первоначальный и еще более обобщенный: русский «идейный человек», горячий, волнующийся, спешащий, ошибающийся, отрекающийся от себя и вновь и вновь ищущий истины... Ищущий – *лучшего*. Ищущий – *другого, чем что есть...*

Наверное, этими словами Василия Розанова можно было бы и ограничиться, характеризуя явление русской жизни и русской литературы по имени «Виссарион Белинский». Они достаточно сердечны и справедливы. Но у нас же в литературе принято, чтобы сердечно и справедливо сказанные о ком-то слова обязательно соседствовали с несправедливыми. Справедливости, так сказать, ради. Что ж, извольте.

«Следовать за Белинским может только отпетый дурак» (П. Вяземский).

«Белинский есть самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни» (Ф. Достоевский).

Так же плохо о Белинском высказывался Толстой.

Конечно же, Белинский был гений. Иначе не было бы и полярных суждений, и не ломались бы в течение почти столетия копы хулителей и защитников его имени («Один журнал ссылается на Белинского как на столп просвещенного западничества; другой видит в нем истинно русского человека и толкует его слова в совершенно славянофильском духе; третий ставит его на одну доску с утопистом Чернышевским». – Н. Страхов). Не прожив на свете и сорока лет, Белинский тем не менее создал направление русской жизни, пусть неправильное, пусть поверхностное, как кому-то тогда казалось, но отличающееся напряженной работой сердца и ума.

Даже литература, классиком которой (в критической области) он считается, привлекала его не своей художественной стороной, а тем, что она занята проблемами человека, его судьбой. Его интересовала правда о человеке, а не то, какими словами эта правда выражена.

И еще: как когда-то Пушкин посвятил своего «Бориса Годунова» памяти Карамзина, так Тургенев, не последний, кстати, в нашей литературе писатель, посвятил «Отцов и детей» Белинскому.

Белкин Ф.

Имя это вряд ли что-нибудь скажет сегодняшнему читателю. Я не имею в виду вымышленного автора знаменитых пушкинских повестей. Я говорю о другом Белкине – Федоре Парфеновиче, советском поэте, выпустившем при жизни пять книжек своих стихов. Вы наверняка удивитесь: ну Белкин, ну Федор, так ведь не Тютчев же! Да, не Тютчев и даже не Эдуард Асадов. Вот образец его поэтического таланта:

Вставала застава из мутных берез,
Имевших родство с облаками,
Шипя, нарушители шли на допрос
С воздетыми к небу руками.

Поэта Белкина я включил в «Книгоедство» исключительно как пример, иллюстрирующий формулу Пастернака «Быть знаменитым некрасиво» с несколько неожиданной стороны. Дело в том... Впрочем, процитирую работу Арлена Блюма «Запрещенные книги русских писателей и литературоведов 1917–1991» (СПб., 1993):

«Белкин оказался жертвой начинавшегося тогда телевидения. В конце 50-х гг. он травил в печати И. Эренбурга и М. Алигер. “Белкин до того разгулялся, – вспоминает писатель Григорий Свиридов, – что все эти погромные идеи решил повторить перед телевизором. И тут произошла осечка... Один старый следователь из Минска случайно, в московской гостинице, увидел выступление Федора Белкина. И ахнул... Оказывается, он 15 лет искал Федора Белкина, начальника окружной гитлеровской жандармерии, лично, из револьвера, расстрелявшего сотни партизан и евреев”».

В результате Белкин был арестован и отправлен в места не столь отдаленные, как хотелось бы.

Так что, дорогие мои писатели и поэты, прежде чем поддаваться искушению массового успеха, подумайте хорошенько: а если и у вас за душой водится что-нибудь нехорошее?

«Белый зодчий» К. Бальмонта

В этой книге много бубенчиков («Качается, качается бубенчик золотой»), колокольчиков («И колокольчики журчат в мечтах рассветных») и паутинящихся на половицах лучей («Я смотрел на луч на половице, Как в окне он по-иному паутинится»).

Этот мой иронический тон всего лишь прием, не более. И еще – настроение виновато. Сегодня оно у меня радостное, «приподнятое», как часто пишется в плохой прозе.

Бальмонт – поэт большой. И стихи у него большие и разные. И вообще дурная привычка: выдирать из книги отдельные строки для каких-то никому не ведомых целей.

Другой поэт, Марина Цветаева, говорила, что в жизни боялась только двух человек. Один из этих двоих – Бальмонт. Это «боюсь» в цветаевском понимании означает: «Боюсь не угодить, задеть, потерять в глазах – высшего».

Бальмонт для Марины Цветаевой был человеком иного мира – мира абсолютной поэзии, мира гордо поднятой головы, мира «не от мира сего».

Даже когда судьба поставила его на грань слепоты, он говорил смиренно: «Если мне суждено ослепнуть, я и это приму. Слепота – прекрасная беда. И... я не один. У меня были великие предшественники: Гомер, Мильтон...»

Ну кто из нас, современников, способен сказать такое? То есть себя с Гомером мы еще способны сравнить, но вот принять Гомерову слепоту...

Бальмонт – великий труженик. Им написаны 35 книг стихов и 20 книг прозы. Им переведены более 10 000 печатных страниц иностранных авторов, среди которых Шелли, Уайльд, Эдгар По, Лопе де Вега, Кальдерон, Руставели, Асвагоша, Калидаса и т. д., и т. д., и т. д.

И какие бы храмы ни возводил этот белый зодчий, неважно под каким небом – под северным ли, российским, или под южным, Франции, – своей музе он не изменял никогда и был верен ей до самой кончины.

Бенедиктов В.

К 1835 году от поэзии Пушкина в России устали. Читателям захотелось чего-то новенького. Отыскался народный поэт Кольцов, книжка которого сразу же после выхода была объявлена прогрессивной критикой во главе с Белинским новым словом в отечественной поэзии. Кольцов был поэт хороший, «дитя природы... до десяти лет учившийся грамоте в училище и с того времени пасущий и гоняющий стада свои в степях» (П. Вяземский).

Но одного Кольцова русской словесности было мало. Тогда Сенковский вытаскивает на свет божий начинающего поэта А. Тимофеева, про которого знают сегодня только узчайшие из узких специалистов. На Тимофеева публика отреагировала прохладно.

И вдруг – как гром среди тихого российского неба... Старик Жуковский бежит по царскосельскому парку, сшибая на ходу статуи, и читает вслух из тоненькой книжечки никому неизвестного поэта:

Небо полночное звезд мириадами,
Взором бессонным блеснит.
Дивный венец его светит Плеядами,
Альдебараном горит...

Студент Тургенев наслаждается «дивными звуками» новой поэтической речи. Фету, приобретшему в лавке книжку, приказчик, передавая в руки покупку, доверительно сообщает: «Этот-то почище Пушкина будет». В Ярославле молодой гимназист Некрасов откровенно подражает новому имени.

Владимир Бенедиктов после выхода в 1935 году книжки стихотворений в одночасье становится знаменитым. Вся Россия декламирует его строки, дамы переписывают стихи в альбомы, сам Пушкин, встретив Бенедиктова однажды на улице, похвалил поэта, сказав: «У вас удивительные рифмы – ни у кого нет таких рифм».

Слава Бенедиктова продолжалась ровно семь лет, до 1842 года. Вышедшие в том же году третьим изданием «Стихотворения» прочно осели на магазинных полках. Публика, как когда-то от Пушкина, устала от своего очередного кумира, критика от него отвернулась и, видно, устыдившись былых восторгов, вылила на его же возвеличенного поэта ушаты грязи.

Пункты обвинительного приговора вчерашнему олимпийцу сформулированы Белинским. Их три (цитирую по книге И. Розанова «Литературные репутации»): 1) Бенедиктов не поэт. Стихи его – риторика. 2) Он придумывал новые, ненужные слова. 3) Многие стихи его непристойны.

Согласитесь, из этих пунктов серьезно можно воспринимать только первый.

Интересно, что сам поэт в жизни был человеком скромным, популярности своей скорее чурался, чем ее безоговорочно принимал, и никакого головокружения от успехов вроде бы не

испытывал. И, в общем-то, не его вина, что в нужном месте в нужное время оказался именно он, а, к примеру, не вышеупомнутый Тимофеев. Если рак на безрыбье рыба, то не надо его после этого распинать с особой жестокостью. Хотя что там говорить о безрыбьи! Пушкин в 1835 году издает четвертую часть «Стихотворений», а перед этим «Полтаву» и седьмую главу «Онегина». В том же 1835 году выходят «Стихотворения» Баратынского.

Виноваты критики и читатель, которые, как это ни горько, мало изменились с тех пор.

Бианки В.

1. «Никогда я не писал для какого-то определенного возраста, – рассказывал Виталий Бианки в предисловии к одной из своих поздних книг. – Уже на готовых книжках педагоги помечали: “Для старшего дошкольного”, “Для младшего и среднего школьного”. Я всегда старался писать свои сказки и рассказы так, чтобы они были доступны и взрослым. А теперь понял, что всю жизнь писал и для взрослых, сохранивших в душе ребенка».

О встречах с Виталием Бианки есть замечательные отрывки в «Телефонной книжке» Евгения Шварца: «Бианки я встретил в первый раз у Маршака... Увидел я, что он здоров, красив, прост до наивности... Возник он тогда с первым вариантом “Лесной газеты”. И выносил бесконечные переделки как мужчина, натуралист и охотник... Однажды он тяжело меня обидел. Я стоял в редакции у стола, перебирал рукописи. Вдруг с хохотом и гоготом, с беспричинным безумным оживлением, что, бывало, нападало на всех нас тогда, вбежали Бианки и Курдов. И Бианки схватил меня за ноги, перевернул вверх ногами и с хохотом держал так, не давая вывернуться...»

А вот кусочек из дневниковых записей того же Евгения Шварца про юбилей Бианки в 1954 году: «Слушал я речи с двойственным ощущением – удовольствия и отвращения. Удовольствия – оттого, что хвалят, а не ругают. И хвалят человека простого, который прожил жизнь по-мужски. Пил зверски, но и работал и в свою работу веровал. И если принимать во внимание все, то он, со своим высоким ростом и маленькой головой, с чуть-чуть птичьим выражением черных глаз, с черными густыми волосами назад, маленьким красивым ртом, – похож на свои книжки».

2. В краткой биографии Виталия Валентиновича Бианки (1894–1959), которую я прочел во вступлении к одной из подборок его рассказов, говорится следующее: «...В 1915 году мобилизован на фронт. После Февральской революции избран солдатами в Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. После демобилизации уехал в Бийск, где при власти Колчака жил на нелегальном положении, скрываясь у партизан. В 1922 году стал членом кружка детских писателей при Петроградском педагогическом институте...»

В этом приведенном фрагменте больше всего меня заинтересовала фраза про Колчака. Дело в том, что отец писателя, профессор-орнитолог Валентин Львович Бианки, с Александром Васильевичем Колчаком состоял в довольно-таки тесном контакте во время организации и проведения русской полярной экспедиции (РПЭ) 1903–1904 года по поискам и спасению пропавшего руководителя РПЭ барона Толля. Валентин Львович был ученым секретарем комиссии по снаряжению экспедиции, которую возглавил Колчак, и сохранилась обстоятельная переписка между будущим Верховным правителем России и отцом будущего писателя, частично опубликованная (см. книгу В. Синюкова «Александр Васильевич Колчак как исследователь Арктики»). Маловероятно, что десятилетний Виталий Бианки не знал о случившейся тогда полярной трагедии и мужестве офицера российского флота Александра Колчака, тем более что отец Бианки принимал в этой истории непосредственное участие. И вряд ли белый адмирал, с ноября 1918 по начало января 1920 года представлявший в Сибири интересы старой России, стал бы домогаться репрессий против сына недавнего своего коллеги по ученым занятиям.

Словом, в писательской биографии явно присутствовала какая-то неувязка, а возможно – недоговоренность.

Договорил за писателя его сын, Виталий Витальевич, в беседе с детской писательницей Татьяной Кудрявцевой.

Бежал, оказывается, Виталий Бианки на Алтай от красных, а не от белых, когда в России был объявлен революционный террор и начались массовые расстрелы чуждых революции элементов. Он даже сменил фамилию – из Бианки превратился в Белянина, простого школьного учителя одной из алтайских школ. Кроме преподавания, усиленно занимался краеведением и основал Алтайский краеведческий музей, директором которого в первое время состоял. Кстати, Зоологический музей в Петербурге появился во многом благодаря стараниям отца писателя, Валентина Львовича, погибшего от голода в 1920 году.

Писательская судьба Бианки сложилась довольно счастливо, хотя бывали в его жизни и суровые времена. Я имею в виду нападки на детскую литературу в конце 20-х годов, о чем так живо и красочно написал Чуковский («От двух до пяти»).

Особо тяжким грехом в детской литературе тогда считался антропоморфизм – наделение животных человеческими чертами. Это, с точки зрения советской педагогики того времени: во-первых, искажает реальность – действительно, согласитесь, невозможно найти в природе ни говорящих рыб, ни наивных волков, которые по лисьей наводке ловят в проруби рыбу при помощи собственного хвоста, ни умных лошадей, которым в одно ухо войдешь, а из другого выйдешь, чтобы поменять внешность; во-вторых, деформирует неоформившуюся детскую психику, то есть встретит, допустим, ребенок в лесу медведя и начнет с ним говорить на человеческом языке, а мишка косолапый возьми да и ответь ему по-своему, по-медвежьи.

«Борьба, воспеваемая Бианки, это не революционная борьба, это не борьба, которая движет миром, которая несет с собой прогресс и развитие, это наконец не борьба угнетенных против угнетателей... Бианки смотрит на мир через кривое зеркало, упорно игнорирует современность...» – такую критическую цитату о Бианки из литературы тех лет приводит А. Блюм («Советская цензура в эпоху тотального террора». СПб.: Академический проект, 2000).

В опубликованных в 1929 году «черных списках» писателей, произведения которых не рекомендованы для детского чтения, значится и имя Бианки.

Сейчас это воспринимается как гримаса истории.

Библиотека пионера

Плохо жить на свете
Пионеру Пете,
Октябренку Вове
И того фиговойей.¹

Это печальное четверостишие вкупе с двенадцатью красными томами старой «Библиотеки пионера» – хороший повод поговорить об истоках, трудностях и проблемах общественного движения «пионеров» и «октябрят», руководимого большевистской партией еще в недавние времена на всей обширной территории бывшего Советского государства.

Открываю 1-й номер журнала «Еж» за 1928 год и в разделе под названием «Стенгазета» читаю «письмо» октябренка «из Туркестана»:

Мать поставила передо мной чашку с пловом и сказала:
– Ешь.

¹ На самом деле в тексте четверостишия более неприличное выражение.

Плов самая вкусная еда на свете. Это – рис, перемешанный с кусочками баранины.
Я посмотрел на чашку и не стал есть.

– Чего ж ты ждешь? – спросила мать.

– Ложку, – сказал я.

Тут поднялся со своего места отец, схватил меня за плечи и тряхнул изо всех сил.

– А пальцы у тебя на что, – закричал он. – Это у вас коммунисты на детской площадке выдумывают разные ложки. Ешь руками.

Далее – продолжение «письма»:

Однажды на детской площадке руководительница сказала:

– Ребята, сейчас уже жарко, начинайте носить трусики.

Я пришел домой и попросил мать сшить мне трусики. Мать испугалась и рассказала отцу.

Отец ничего не сказал, зверем посмотрел на меня и ушел из дому. Вечером он вернулся.

Он вынул деревянную ложку и подал ее мне.

– Вот, Гассан, бери. Можешь есть плов ложкой. Можешь и губы после еды полотенцем вытирать. Но только не вздумай носить трусиков. Если увижу – убью. Пусть русские носят, а для нас, для узбеков, это страшный грех.

Вот как трудно октябрятам у нас в Узбекистане проводить революцию. Но ложку я уже отвоевал. Может, отвоюю и трусики.

Понятно, судя по стилю, что «письмо из Туркестана» писано в Ленинграде в редакции самого «Ежа» – может быть, Евгением Шварцем, или Николаем Олейниковым, или Александром Введенским, – словом, кем-нибудь из компании Маршака. Но события, в нем описываемые, – вполне реальные, ничуть не придуманные, только наверняка смягченные, рассчитанные на читателей неокрепших, чтобы не бередить им нервы. То, что происходило в действительности, было много мучительней и кровавей, чем об этом рассказывается в «Еже». И отцовское «убью» из письма было вовсе не словесной угрозой. Вот где, между прочим, истоки сегодняшней национальной вражды и вчерашнего распада Эсэсэсэра. В навязанной сверху борьбе с традициями, в пионерско-октябрятско-комсомольском движении на территориях, из века принадлежащих исламу. Во всяком случае, это одна из капель, переполнивших чашу.

Блатная песня

Какой русский не любит блатную песню! Наверное, лишь такой, который русский только по паспорту.

Вот вы, кто, вполне возможно, эти строчки сейчас читаете, скажите честно, любили вы бывший советский государственный гимн? На сто процентов уверен, что, в лучшем случае, относились к нему равнодушно. А в худшем – с ненавистью, как доперестроечный школьник к передаче «Пионерская зорька» (была такая на радио). Потому что каждое божье утро под звуки гимна человеку приходилось вставать и как проклятому переть на работу.

Про слова гимна я даже не спрашиваю. Всех слов его не помнит ни один человек, кроме, разве что, самих авторов – Эль-Регистана и Михалкова. Да и они – вряд ли.

А вот услышав, к примеру, ненавязчивую мелодию «Мурки», любой ловит себя на том, что губы независимо от сознания шевелятся, подпевая.

«Блоха» Е. Замятина

При жизни писателя Евгения Замятина некоторые называли Англичанином. Прилипла к нему эта безобидная кличка после поездки в Англию в качестве инженера-судостроителя, откуда он пригнал в Россию, уже советскую, два ледокола – «Ленин» (б. «Святой Александр Невский») и «Красин» (б. «Святогор»).

Еще Замятин привез из Англии повесть «Островитяне», прочтя которую, Корней Чуковский воскликнул: «Гоголь! Новый Гоголь явился!»

С той «островитянской» поры Англия и английская тема нет-нет да и всплывает желтой подводной лодкой в творчестве Замятина-Англичанина.

Вот и маленькая пьеса «Блоха» идет от этого его англичанства.

Надо сказать, что после путешествия в Англию никаким англолюбом автор «Островитян» не стал и восторгами по поводу чудес иностранной жизни, быта, техники, науки и проч. не разражался. Смотрит он на жизнь чужого народа, мягко говоря, не политкорректно, издевательски смотрит он на жизнь друзей-англичан, без всякого по отношению к ним пиетета.

Источник «Блохи» Замятина тот же самый, что и источник «Левши» Лескова. Это старинный бродячий народный сказ о тульских мастерах и блохе, как они нос Аглицким мастерам утёрли, подковавши механическую блоху.

О том, как «Блоха» писалась, можно выяснить из анкеты, которую заполнил Замятин в конце 20-х годов для сборника «Как мы пишем»:

Сначала является отвлеченный тезис, идея вещи, она долго живет в сознании, в верхних этажах – и никак не хочет спуститься вниз, обрасти мясом и кожей. Беременность длится, ей не видно конца. Приходится держать строгую диету – читать только книги, не выходящие из круга определенных идей или определенной эпохи. Помню, что для «Блохи» этот период продолжался месяца четыре, не меньше. Диета была такая: русские народные комедии и сказки, пьесы Гоцци и кое-что из Гольдони, балаганные афиши, старые русские лубки, книги Ровинского. Сама работа над пьесой, от первой строки до последней, заняла всего пять недель.

От себя скажу, что в отечественной «блошиной» литературе пьеса Замятина стоит в одном ряду с такими замечательными сочинениями, как упомянутый выше «Левша» Лескова и непереиздававшийся с 1930 года (ау, книгоиздатели!) «Блошинный учитель» Николая Олейникова (Макара Свирепого).

Бодлер III.

К сожалению, русская земля не родила ни одного собственного Бодлера, хотя «проКлятых» поэтов у нас в России всегда хватало с избытком. Бодлеры это вам не Невтоны, тут недостаточно падения на голову яблока или путешествия пешим ходом из Холмогор в Москву. Чтобы стать Бодлером, мало перенять чужой стихотворный опыт, как это сделали наши Брюсов с Бальмонтом. Мало уметь рифмовать и декламировать за богемным столиком где-нибудь в ресторане «Вена», чтобы вырифмовалось-сдекламировалось такое:

Душа наша – корабль, идущий в Эльдорадо,
В блаженную страну ведет – какой пролив?
Вдруг среди гор и бездн, и гидр морского ада —
Крик вахтенного: – Рай! Любовь! Блаженство! – Риф...

О, жалкий сумасброд, всегда кричащий: берег!
Скормить его зыбям иль в цепи заковать, —
Безвинного лгуна, выдумщика Америк,
От вымысла чьего еще серее гладь...

Бодлер равен лишь себе самому, и других Бодлеров в природе не было и не будет. Впрочем, уникальность таланта – тема избитая до оскомины, и повторяться не вижу смысла.

Такой жизни, какой прожил Бодлер, не пожелаешь даже врагу. Припадки, нервные срывы, наркотики, алкоголь. И конечно, дамоклов меч власти, навязанная извне «прОклятость», лишившая его литературных доходов и сделавшая поэта изгоем общества. Жизнь, превратившаяся в медленное умирание, забытость, бедность, болезнь...

В свое время меня поразила такой бодлеровский афоризм: «Первое условие поэтического вдохновения – сытый желудок». Были в нем вызов и откровенный, вульгарный материализм. Еще бы – святое искусство поэзии, и вдруг – сытый желудок! Низкое и высокое. Но именно на стыке низкого и высокого рождается все великое. Рабле, Сервантес, Шекспир, английские просветители с Филдингом во главе... Застенчивость убивает литературу. И весь Бодлер в этом – в противопоставлении низкого и высокого. Поэтому он – Бодлер.

«Большая крокодила». Стихи и рисунки Марины Колдобской

Как и митьки, Марина Колдобская – фигура в Питере культовая. Кем ее только ни называли – от тотального диверсанта в юбке до «господина всего и ничего» (последнее, впрочем, ее собственное определение – по-моему). То есть провокационный характер ее всевозможных деятельности вроде бы очевиден. «Вроде бы» – потому что внешнее не всегда равнозначно внутреннему.

Внутренний человек проявляется в стихах и любви. Вот стихи Марины Колдобской из ее «Большой крокодилы» (отрывки, разумеется):

лепим, лепим из говна.
а страна у нас одна.

по полу катались,
крепко целовались,
тесто засохло,
невеста издохла.

на чем стоим —
о том поем.
кому хотим —
тому даем.
кому дала —
тому жена,
страна,
война
и мать родна.

Ну и рисунки, конечно. Они у Колдобской такие же простые, как и ее стихи. И такие же умные.

Бонифаций

Бонифаций – это второе имя поэта Германа Геннадьевича Лукомникова. Почему именно Бонифаций, а не Проперций и не Катулл – не знаю. Возможно, от счастливой судьбы, которую обещает имя, если его с латыни перевести на русский.

Лукомников-Бонифаций поэт хороший. Он пишет много и издает свои стихи посезонно в желтых таких тетрадочках, ностальгически напоминающих школьные. В книжках этих по два раздела: просто стихи и стихи плохие. Подход честный – и для автора, и для его читателей. Но

не только в этих тетрадочках, поэт Лукомников-Бонифаций печатается и в толстых журналах. Вот что было напечатано, например, в «Знамени»:

Я так мечтал о воздушных шарах,
Чтоб их иголкой: шарах!.. шарах!..

Я, как автор работы «В небе грустно без воздушных шаров», конечно возмущился подобному. И если бы не талант автора, затаил бы на последнего зло. Но талант он и есть талант – чего мы ему только не прощаем.

Существуют у Бонифация и книжки с картинками – например, одна такая книжка выходила у Сапеги в «Красном матросе» (Бонифаций. Стихи. Художник Эврика! Джанглл. СПб.: Красный матрос, 1997). Стихи в ней лаконичные до предела, что вообще очень свойственно для Лукомникова. По форме это двустишия, состоящие из двух рифмованных слов. А между этими рифмованными словами нарисована поясняющая картинка, придающая Бонифациевым стихам дополнительные глубину и силу. Так, в стихотворении:

Рубаха
Баха

– нарисована висящая на прищепках тельняшка, на которой, как в тетрадке для нот, беглым почерком записаны то ли знаменитые фуги, то ли что-то еще из бессмертного наследия композитора.

Братья Стругацкие

Когда памятью возвращаешься в детство, вдруг ясно и чётко осознаёшь: кроме книг, в те легкие годы у тебя не было ничего. Книга, свет лампы-гриба в клетушке коммунальной квартиры и глаза, удивленные и живые, проглатывающие за страницей страницу.

Жизнь человека начинается с первой прочитанной книги. Нам, родившимся в начале 50-х и приобщившимся к тайне чтения спустя 7 или 10 лет, удивительно повезло. Первые книги братьев Стругацких совпали по времени выхода с нашим превращением в читателей. Мы выросли – и выходили их повести. Мы читали их жадно и наскоро, потом перечитывали не спеша и ждали, когда будут другие. Минуло почти сорок лет, а живет еще запах страниц и не стерлись удивительные детали, вроде снежной корки на подоконнике, когда ты сидишь у окна и читаешь главы из «Возвращения».

Чем же они нас брали, писатели братья Стругацкие? Нет, не магией слова. Настоящие кудесники слова входят в круг чтения позже, когда начинаешь чувствовать волшебство мира вокруг и ищешь соответствия слова той зыбкой, неуловимой основе, из которой соткана жизнь.

В первом томе первого собрания сочинений писателей, вышедшего в свое время в издательстве «Текст», в статье, предваряющей том, читаем: «Слово Стругацких звенит, словно вдоль строк протянута тончайшая нить радости».

Так писатель написал о писателях. Друг написал о друзьях. Это и есть та ключевая фраза, определяющая нашу любовь к их книгам.

Радостью, простотой и тайной, открытостью для открытого сердца и открытием небывалого мира, в котором хочется жить. Чем, как не такими вещами, можно завоевать на всю жизнь человеческое сердце читателя.

Буренин В.

...Пишут Зайцы, Обелисковы,

Вся родня их и знакомые,
Жак-Лефрены, Богомудровы
И иные насекомые...

– так неизвестный анонимный поэт характеризует литературную обстановку шестидесятых годов девятнадцатого, теперь уже далекого, века. Имена здесь все, естественно, зашифрованы; впрочем, для тогдашних читателей расшифровка их не представляла труда.

Так вот, под именем Обелискова обозначен в этой пародии всем известный до революции петербургский литературный зоил В. Буренин, выступавший одно время под псевдонимом В. Монументов. Зоилом, или вечным хулителем, В. Буренин стал уже во второй половине своей литературной карьеры. В первой он был прогрессивным критиком, писателем и поэтом-сатириком, высоко оцененным Толстым, Некрасовым, Лесковым и Достоевским. Те же самые литературные деятели, что когда-то его хвалили, стали его позже ругать за беспринципность и полное отрицание каких бы то ни было идеалов – демократических, самодержавных, любых.

Тем не менее, даже «Новое время», возглавляемое суровым Сувориным, который Буренин ненавидел и постоянно про него говорил, что тот «глумится и презирает литературу», охотно его печатало без всякой цензуры и сокращений.

Объяснялся сей парадокс просто – Буренин приносил прибыль. Публике ведь что интересно – не то, как писатель пишет, а сколько у него тайных любовниц и какая по счету бутылка шампанского все-таки угодила в голову хозяина ресторана, а не порушила, как все предыдущие, венецианское зеркало и мраморного фавна при входе.

«Неприличие тона, сальность и мерзость выражений переходят решительно за границы всякого приличия» (П. И. Чайковский).

«Бесцеремонный циник, часто пренебрегающий приличиями в печати» (И. Тургенев).

«Только и делает, что выискивает, чем бы человека обидеть, приписав ему что-либо пошлое» (Н. Лесков).

Вот несколько характерных отзывов о литературной деятельности Буренина.

Но тот же Блок, стихи которого Буренин пародировал зло и грубо, знал пародии на себя хулимого наизусть и часто с удовольствием их цитировал. Все-таки талант есть талант. Его как не пропьешь, так и не перекрасишь из крапивного в бруснично-песочный цвет.

Вам пример? Извольте пример:

В спальне свет. Готова ванна,
Ночь, как тетерев, глуха.
Спит, раскинув руки, донна Анна
И под нею прыгает блоха.

Дон-Жуан летит в автомобиле,
На моторе мчится командор,
Трех старух дорогой задавили...
Черный, как сова, отстал мотор...

И так далее, продолжать не буду. По-моему, талант налицо.

В

В защиту лошади

В одном из номеров юношеского журнала «Борьба миров» за 1930 год, издававшегося в «Молодой гвардии», перепечатан из журнала «Прожектор» такой вот плакат-лубок: на переднем плане улыбающийся командарм Буденный с усам раза в полтора шире румяных щек показывает рукой за плечо. Там, за спиной Буденного, видны лошадь – справа – и – слева – советский трактор. Вверху надпись «В защиту лошади» и цитата из буденновской речи: «Спутником развития машины должно быть столь подвижное животное, как лошадь». Внизу, под плакатом, еще одна буденновская цитата: «Я не против трактора. Но почему бы к 10 лошадиным силам не прибавить одиннадцатую?»

Плакат нарисовал замечательный иллюстратор художник Константин Ротов, известный по картинкам к «Старику Хоттабычу», «Приключениям капитана Врунгеля» и множеству других книжек. Но сейчас я говорю не о нем. Сейчас разговор – о лошади.

Дело в том, что публикация в журнале плаката работы Ротова действительно связана с проходившей в начале 30-х годов кампанией в защиту братьев наших меньших – лошадок. При этом лошадь рассматривалась не как существо живое, а исключительно как средство механизации типа трактора или телеги.

Так в постановлении ЦИК и СНК СССР о запрещении убоя лошадей и об ответственности за их хищническую эксплуатацию, подписанном 7 декабря 1931 г. Калининым, Куйбышевым и Енукидзе, устанавливались следующие репрессивные меры: за незаконный убой хозяйственно-пригодной лошади налагался штраф в десять раз выше ее стоимости, а для так называемых «кулаков» предполагалась конфискация всего скота и тюрьма. Одновременно проводилась и очередная политкампания – месячник коня во главе с Буденным.

Отметим справедливости ради, что легендарный командарм Первой конной действительно сыграл огромную роль как в улучшении качества породы, так и – в период коллективизации – в сохранении всего русского коневодства. В книге Е. Кожевникова и Д. Гуревича «Отечественное коневодство: история, современность, проблемы» (М.: Агропромизда», 1990) находим следующее:

С появлением на полях тракторов и прочей машинной техники в советском обществе стало утверждаться мнение об отмирании лошади. Это явилось причиной массового забоя полнокровных, а иногда и племенных лошадей. Конское поголовье сократилось за 6 лет (1928–1933) более чем вдвое. Летом 1930 года состоялся XVI съезд ВКП(б). На съезде с речью выступил С. М. Буденный. Он отметил тот факт, что за полтора года количество лошадей в стране уменьшилось на 4 млн голов. Это был очень смелый, по тем временам, шаг, который спас российское коневодство и помог сохранить остатки племенных лошадей. В начале 30-х годов стало развиваться племенное коневодство. Большой известностью пользовалась артель им. С. М. Буденного на берегах Маныча, разводящая донских, арабо-донских и англо-донских лошадей, позднее, в 1948 году, группа лошадей таких помесей была зарегистрирована как Буденновская порода.

Вот вам и товарищ Буденный. Оказывается, кабы не он, хана бы всем российским лошадам. Не зря главным призом на конных соревнованиях считается приз им. Семена Буденного.

В небе грустно без воздушных шаров

У меня есть приятель Валентин Стайер (сейчас он живет в Америке), который в середине семидесятых построил воздушный шар. Кто не помнит 70-е годы, напоминаю: самым ходовым

словом в разговорах тех лет было слово «достал». Не «купил» – купить что-либо было не так просто, – а именно что «достал». Достал второй том «Анжелики», достал финский костюм, достал две банки сгущенки и т. д. Это сейчас слово «достал» имеет негативный оттенок: «Ну, ты меня достал». В смысле, иди-ка ты, брат, подальше и не надоедай. Так вот – о воздушном шаре. Все материалы, нужные для его постройки, Валька Стайер достал. На фабрике договорился с рабочими, и те за литр портвейна перекинули Вальке через забор несколько рулонов материи, пошедшей на оболочку шара. С завода за пару бутылок водки ему вынесли алюминий. Валентин был по специальности химик, и друзья его, тоже химики, натаскали ему из лаборатории кислоты. Объясняю для неспециалистов: алюминий и кислота необходимы для получения водорода, которым и наполняют воздушный шар, чтобы тот взлетел. Валькина знакомая, работавшая в научной библиотеке, принесла ему «Метеорологические таблицы», полный комплект, начиная с 1860 года. Они были ему нужны для расчета направления ветра.

Несколько месяцев подряд Валентин свозил все это хозяйство под Выборг и прятал материалы в специально выкопанной землянке, чтобы их случайно не нашли грибники. Место для старта он выбрал тоже не просто так. Для этого Валентин в каждую свою выборгскую поездку поднимался на знаменитую башню, местную достопримечательность, и тщательно изучал окрестности: стартовая площадка должна была находиться на максимальном удалении от пограничных вышек – чтобы шар не успели расстрелять в воздухе пограничники. Выборг, как известно, входит в пограничную зону, и если залезть на башню, то большинство военных и пограничных объектов видны оттуда как на ладони. В одиночку справиться с подготовкой и стартом трудно, практически невозможно, и Валя Стайер уговорил своего лучшего друга Шуру Тарасова участвовать в перелете века. Да, забыл сказать главное: лететь они собрались в Швецию или Норвегию, точно не помню, словом – в одну из стран Скандинавии, исключая Финляндию. Финны, как известно, всегда выдавали беглецов из-за железного занавеса.

Назначили они время вылета – середина осени, и пока Валентин устраивал свои последние городские дела, Шурик на неделю ушел в поход – по грибы, по ягоды и вообще развлекаться на природе. В назначенный день Валька приезжает под Выборг, ждет час, ждет другой, а Шуры все нет и нет. Тогда он начинает тихонько нервничать – в одиночку-то воздушный шар не запустишь. Короче говоря, прождал он друга до вечера, уже и ветер переменился, и в лесу стало хмуро и холодно, спрятал свое хозяйство в землянку и вернулся на электричке в город.

Так и не состоялось это славное воздушное плавание. Только не надо думать, что Шура Тарасов трусил. Шура не трусил, Шура, когда был в походе, приготовил из мухоморов священный напиток «сому», но по неопытности нарушил пропорции и поэтому был доставлен в 6-ю психиатрическую больницу города Ленинграда, что на Обводном канале возле площади Александра Невского.

Я завел этот разговор неслучайно. Тема воздушного шара занимала меня всегда. И в жизни и в литературе особенно. Потому что это одна из самых удачных и благодатных в литературе тем. Взять хотя бы Жюль Верна, одно из самых великих открытий моего детства: «Таинственный остров» и «Пять недель на воздушном шаре».

Если вдуматься, свифтовская Лапута – тот же воздушный шар, только твердый и плоский, как летающая тарелка.

А сцена в «Трех толстяках» Олеси, когда прижимистый продавец воздушных шаров летит над галдящим городом.

И домик девочки Дороти из повести Фрэнка Баума – это тоже воздушный шар, только его уносит не на жюльверновский таинственный остров, а в сказочную страну Жевунов. Да и сам Чародей Оз улетает из своих изумрудных владений не на каком-нибудь современном лайнере, а на летучем воздушном шаре.

Достаточно поднапрячь память, и вспомнятся десятки примеров, иллюстрирующих эту простую мысль.

Крылатый дядюшка Эйнар у Рея Бредбери.

Незнайкин воздушный шар, поднявшийся из Цветочного города, что на Огурцовой реке, и перенесший маленьких человечков в Зеленый город.

Доктор Кейвор с его волшебным веществом кейворитом из романа Уэллса.

Ковры-самолеты из «Тысячи и одной ночи» и «Старика Хоттабыча», дикие гуси Нильса и лягушка-путешественница у Гаршина...

Самолет Экзюпери, ракета Хайнлайна – все это продолжение воздушного шара. По сути вся литература состоит из множества воздушных шаров, которые украшают небо. Звезды холодны, они принадлежат ночи. Ангелы косноязычны и принадлежат Богу. Демоны – глухонемые все как один. Воздушный шар – самое человеческое создание, когда-нибудь придуманное людьми. Ну, может быть, еще – паровоз. Дневное небо должны наполнять воздушные шары. Большие, как бегемоты, и маленькие, как полевые мыши. Если бы я был политиком, я создал бы общественное движение под лозунгом: «Небо – для воздушных шаров!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.